

Виктор Кривулин

ПУТЕШЕСТВИЕ РЯДОМ С БАТЮШКОВЫМ

Есть несколько (так мало!) поэтов, чьи имена звучат, как названия стихотворений. Птичья притягательная сила заключена в этих именах.

Батюшков! — произношу я, еще не имея в виду имени поэта, меня останавливает одно сочетание звуков, блаженное бессмысленное слово — "б-а-т-ю-ш-к-о-в". Так звучит воспоминание о небесной отчизне, но какой-то иронический, мягко-издевательский смысл скрыт за отеческим звучанием. "Батюшков сын... куда, чей-де еще сын? — разумеется, Батюшков".

Библиотека грузинского курорта. Я снимаю с полки томик Батюшкова. Все читано было, и от этой книжки не жду ничего нового, но снимаю ее с полки, стою и держу — зачем? Бесполезное, бесцельное и неземное притяжение знакомой книги. Посреди мертвого моего слуха стоит, как пятачок неба в сердцевине облака, — стоит ничтожное живое пятно звучащей Италии — Батюшков.

Стоит лицом ко мне.

Здесь завершение мучительного припоминания.

Так давно я хотел вспомнить это имя — и вот само оно оборотилось ко мне. Не нужно даже книги раскрывать, чтобы вспомнить начало стихотворения, посвященного Творцу Истории Государства Российского:

Когда на играх Олимпийских...

Спустя 22 года, в 1840 Евгений Баратынский начнет свою "Рифму":

Когда на Играх олимпийских... —

начнет великолепной с м ы с л о в о й р и ф м о й к Батюшкову одно из лучших своих стихотворений, начнет с того места, где Батюшков остановил "Опыты в стихах и прозе". Но и батюшково стихотворение — тоже рифма... к Карамзину; задолго до Баратынского восклицает с удивительным для русской поэзии смирением наш моложавый Батюшков:

Пускай талант — не мой удел!

Но я для муз дышал не даром,

Любил прекрасное и с жаром

Твой гений чувствовать умел.

"Ты" — здесь Карамзин. Батюшково благоговение перед ним — предшественником — соотносимо разве что со смирением Евгения Баратынского перед потомком.

Мой дар убог и голос мой негромок,

но я живу, и на земле мое

кому-нибудь любезно бытие...

Но ведь "ты" для Баратынского — лицо без лица, "какой-нибудь", "кто-нибудь" и т.д. Лицо будущего, какой бы "далекий потомок" ни заполнял его, остается пустым овалом старинной рамы — портрет вынесли, а новый не вставлен. Вставлять некого, да и закомпоновать, как прежде, никто уже не умеет. На овальном портрете изображен был Батюшков, допустим — карандашный рисунок самого поэта. Даже не овал, а почти правильный круг, овал — у более известного и вымученного Батюшкова на портрете Кипренского.

Итак, из круга, репродуцированный в новейшем издании, смотрит Батюшков. Не на меня — в будущее — смотрит он, но в сторону — в прошлое, почему-то в л е в о на всех известных портретах.

Оно старчески и тривиально звучит: в з г л я д — в — п р о — ш л о е! Но несимметричное лицо смиренного Батюшкова обращено на Клию, и в этом взгляде не находишь сотого повторения, и ты уже не потомок Батюшкова и не счастливый современник его, ты выше, ты — идущий во времени перед ним.

Как он умел не допускать будущего! Вот его Клию, Клия. Это муза, а не человекообразная пыточная камера, она еще сестра Эвтерпе, подруга Мнемозине. Дальше начнется история беспамятная. Уши тупеют. Ни вздоха, ни шороха не услышит уже ближайший Пушкин, до ушей его дойдет лишь "Клии страшный глас", но и от этого голоса не повредится он в уме: "О, морально-литературный пафос ужасов истории".

Прогрессирующая глухота русской поэзии.

И скоро, совсем скоро абсолютно оглохший Блок, как некий новый Бетховен, снова и снова будет повторять: слушайте музыку истории. Что-с? Кого? Не спрашиваю уже — где?

Но вот и с т о р и я: Батюшков взял да сжег свою библиотеку; нет, не так; замедлим темп происходящего: Батюшков сжигает свою библиотеку, несколько сотен французских книг, ни одна из которых даже в наше, последнее для библиофила время не представляет собой ценности, так что можно сказать с полным правом: Батюшков до сих пор сжигает и сжигает свою библиотеку — до сих пор. Да отчего же библиотеку-то? — не спрашивайте. Кого люблю, того наказую. Наказую огнем и дымом. Дымом, дымом, главное! Перед этим лицом мне становится страшно — страшно не сладчайшим литературным ужасом — страшно по-настоящему, страшно двадцать, тридцать и Бог знает еще сколько лет.

Я выхожу на улицу и вижу перед собой спокойное белое лицо безумного Батюшкова.

Сострадание издали как наблюдение нравов.
Боже! — тень человека, везде иностранец неслышный.

О, страна, где никто не рожден,
где все умирали.
Редко из дому выйду — и улица всюду вплотную
к моему (или оно не мое?)
к телу печали.

Я закрываю глаза и вижу перед собой Баратынского.

В глазах Баратынского стоит безумие Батюшкова.

Это лицо не выражает ничего человеческого, хотя выражение его предельно сосредоточено:

Все Аристотель врал! табак есть божество.

Повсюду смертные ему готовят торжество.

И я своими глазами наблюдал торжество табака, когда возвращался с грузинского курорта: гигантский щит, из тех, что начальство называет "художественными", по дороге в Аэропорт Адлер, на развилке шоссе:

Город Сочи приветствует некурящих!

Вот оно, время для табачной антитезы, и новый батюшков обращается к римскому: "Х приветствует Игрэка", "Луций приветствует Луцилия" и т.д. И в печальном рассудке памяти моей воскресает желанный и неосудимый оораз: антично-правильное чистое множество некурящих, идеальное гармоническое "Мы", которое есть еще и "НЕ-ОНИ" со знаком отрицания впереди.

-НЕ-ОНИ лечат безумие, боясь заразиться, и страх перед умственной инфекцией безумен вдвойне.

Еще не совсем сумасшедший Батюшков восклицает блаженно и сладостно:

О память сердца, ты верней
Рассудка памяти печальной...

Вслушиваясь и спрашиваю себя: о чем же память сердца? Что вспоминать мне и на что опереться, вспоминая?

Я путешествовал. Я листал томик Батюшкова и пил восточное кофе в заведении на самом берегу моря, под навесом. Здесь было последнее место в России, где еще продавали кофе. Мне казалось, что я пишу о Батюшкове стихи, я что-то записывал в свою тетрадку, мешали разговоры на соседних столиках: там разглагольствовали старообразные писатели из ближайшего дома творчества. Один из них крик-

нул мне, не стихи ли я пишу? Мешал ветер, хлопая солнцезащитной парусиной. Я писал какую-то чушь, лишь бы писать, лишь бы не смотреть по сторонам и писать — о Батюшкове. Вот что писал я тогда:

"В глазах баратынского стоит безумие батюшкова. Перед глазами пушкина — вологодский гельдерлин

Меж нас не ведает поэт,
Высок его полет иль нет,
Велика ли творческая дума...
Сам судия и подсудимый,
скажи, твой бесполезный жар —
смешной недуг иль высший дар?
Реши вопрос неразрешимый!..

Бывают такие времена: никаких критериев, буквально не на что опереться, туман, дым, батюшков сжигающий библиотеку, общая палата в кашенке или скворешнике — но кого винить? Да и не то страшно, что "посадят на цепь" дурака или что "твой недуг смешон"... Страшно покойное белое лицо, которое я вижу каждый раз, когда выхожу на улицу, лицо без выражения, лицо объективного человека, человека за стеклом..."

Солнце. Слишком много солнца для северянина. Десять дней спустя я буду в Москве и там все-таки запишу стихи с батюшковым — без последних трех (священное число!) строк. Запишу, хотя это будет уже совершенно излишним: все закончилось сейчас, здесь, в кафе на берегу моря. Отсюда и начинается собственно то, что можно назвать путешествием рядом с Батюшковым.

Я иду к остановке автобуса, пересекаю шоссе. Остановка "Павильон". Бутылочное лицо за стеклом автобуса. Господи, куда деться!

Есть на что опереться. Прочти:
"бедный Батюшков, жест шаловливый
оперенной рукою, рукою почти
запечатанной..." Письма пришли с новостями.
Ты читаешь письмо, и конверт (состоянье
разрыва) —
этот свернутый набок сустава
между фосфорными костями.

Два античных сюжета. Один переход
через римскую речку. Но сложены вместе,
вы — рука, подперев подбородок!
Рука превращается в рот.

К воровскому жаргону последних известий
прилепляются уши. И слышу: у входа
белый батюшков крыльями бьет!

можно и так закончить:

.....У входа
Младая будет жизнь играть.

Итак, младая жизнь играет, о ней можно было вовсе не упоминать — она все равно играла бы, как сейчас играет, и ее веселье не стало более веселым от того, если кто-то когда-то сказал, что так оно и будет.

Два ряда кипарисов в устьи высохшей речки, которая по замыслу природы должна была мутно и бурно впадать в море. А теперь лежат одни камни, белые камни дна. Остановка называется "Школа". В каждом городе есть такая остановка. "Школа чего?" — спросите вы, и я затрудняюсь ответить. Я выстрою ряд кипарисов и внутри каждого из них посею живой черный ветер, живой черный огонь застывшего порыва. Но внешне все мертво и сухо. Школы: Злословия, Мужества, Жен и Мужей, новейшая — Для дураков. И действительно, чему учили меня дурака?

Обнаруживаю, что вся литература — и устная и письменная — вся школьная литература отложилась во мне как один сплошной урок по Чернышевскому. Этого не может быть, это ошибка, но сколько ни стараюсь, не могу вспомнить другого урока литературы, кроме чернышевского... Ах да, забыл, простите, — и окна. Окна в сквер, где все время, пока меня учили литературе, сооружался памятник Добролюбову.

И вот стоит он стоймя, в опущенной руке — раскрытая книга, раздвоенная бронзовая книжка без единой буквы.

Господи, какая тоска, даже книжки человеческой почитать не дадут!

Остановка Школа. Следующая — санаторий семнадцатого партсъезда. Богатый санаторий. Там тоже играет младая жизнь, играет с тридцать шестого года не переставая. Играет и поет, как сказал поэт. И я тоже стал говорить в рифму, как говорят поэты, — с каких пор?

Впрочем, как-то ведь должна южная природа влиять на человека?

Здесь все местные русские говорят с грузинским акцентом, Во втором поколении им ничего не останется, кроме писания стихов: младая будет жизнь играть. Почему я не пишу стихов? Почему я не пою во весь голос "Из-за острова на стрежень?" Наконец, почему я еду дальше, мимо семнадцатого партсъезда? Не спрашиваю уже - куда я еду. Попробуй спроси все равно что в темноте ступить в пустое место, что-то похожее на вопрос о смысле жизни. В конце концов я вам не Лев Толстой, как говаривал тезка мой Виктор Борисович Шкловский. Пожалуй, я лучше буду писать стихами о том, что вижу... хотя нет... лучше писать о стихах, как лучше смотреть из окна автобуса в раскрытое окно первого этажа, где женщина вываливает на кухонный стол из продуктовой сумки груды красного перца и пурпурных баклажан - лучше смотреть туда, проезжая, лучше смотреть туда незаинтересованным глазом художника-колориста, чем находиться там, в этой комнате, рядом с женщиной и овощами и вечносаднящим радио в углу.

Я буду писать о стихах прозой, благо все жалуются, что прозы нынче нет, вот она и появится - красочная поэтичная и т.д. дорогая южная овощь с усами, нарисованными углем, и приклеенным картонным носом.

Остановка санаторий "Грузия". Высоко в горах виден корпус санатория "Армения". Дружба народов. Армяне - народ горный, привычный, своего моря у них нет; чтобы спуститься к морю, нужно преодолеть длинный извилистый путь, пересечь полотно железной дороги, автостраду "Сочи-Сухуми" - и упереться в санаторий "Грузия", закрытый для посторонних. Поэтому армяне предпочитают селиться прямо в санатории "Грузия", а в "Армении" живут одни шахтеры.

Остановка Колоннада. Я здесь не выйду, я поеду дальше, до конца поеду. Мимо проплывает самая настоящая колоннада, сквозь которую сквозит самое настоящее море. Колоннада, единственное утилитарное назначение которой - утверждать каждого проходящего и проезжающего мимо в мысли, что он находится где-то там, где человеку всегда и непременно должно быть очень хорошо и красиво. Колоннада сквозь море, море сквозь колоннаду, а в просветах ее - две громадных пальмы, симметричные и такие толстые, будто росли они здесь всегда. И закат, чуть заслоненный спинами и волосами толстых, любующихся закатом женщин. Почему все они такие большие даже рядом с

толстыми пальмами? Особенности питания, много хлеба... я не успеваю закончить - все исчезает.

Остановка "Гагрипш". Что это означает, я не знаю. Интуристовские автобусы у кромки шоссе. Проезжаем мимо теннисных кортов. Гумберт Гумберт в партии со своей приемной дочкой, ее оранжевые шорты, павлин и пеликан друг против друга на бетонном берегу искусственного озера. Смотрят друг на друга и друг друга не замечают. Видно, что павлин кричит, стекло не пропускает звука... Множество разноцветных уток и несколько лебедей в пруду. Кучки созерцающих. Писающий цинковый мальчик посреди пруда (он - фонтан), тяжелое материнство-и-младенчество посреди другого.

Старые каменные строения, много людей между циклопическими домами, поворот, бетонная новая площадь имени гагарина, кольцо.

Вот куда я приехал. На площади ни единого дерева, ни кустика. Я один, автобус ушел. Барьер, за барьером - пустое русло, без реки, одни белые камни, постоянный слабый шум среди них, ровное шуршание. Крик павлина издалека.

Двусмысленная форма площади - спроси меня: она круглая? - я отвечу: да. Или прямоугольная? - Да. Кругло-прямоугольная площадь гагарина, еще более унылая и неочеловеченная, чем лабазная улица терешковой - внешняя часть городского грязного рынка, - та самая улица, по которой два южных мужика неторопливо несут визжащую свинью, несут книзу рылом, держа за задние (не знаю, как их называть: лапы? ноги? мослы? копыта?). Свинья раскачивается, как мешок, задевая лицом асфальт, заходится - голос ее уже не визг, а вопль, безнадежный голос жизни, цепляющейся соскальзывающими копытами за мокрый выступ.

Но рынок в центре, а я на окраине, путешествие мое должно окончиться, но я не знаю, как и где. Здесь так пусто и странно, что любой конец представляется отсюда предпочтительней любого продолжения.

И все же:

...память сердца! ты верней
рассудка памяти печальной....,

и бедный Батюшков, непутевый сын, которому "отец истории читал" - Батюшков сжигает свою библиотеку - единственный русский поэт, чьим мифологическим познаниям я завидую, и эта первая его - предромантическая! - любовь к истории, тогда как все тянулись к политике (карамзин) или сексу (пушкин), эта чистая любовь, когда даже эротика исторична, эта любовь, которая ничем никогда не кончается, ничем, даже стихотворения ни одного не вспомнить целиком, чтобы в нем не было провалов вкуса. Но когда язык проваливается в бездну - слаще этого нет ничего, почти правильная, почти современная речь, во все времена - только почти.

И слава Богу.